



Михаил 4 Жванецкий

девяностые

собрание произведений

Михаил Михайлович Жванецкий

Собрание произведений в пяти томах. Том 4. Девяностые

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=180868

Михаил Жванецкий. Собрание произведений в пяти томах. Том 4.
Девяностые: Время; Москва; 2006
ISBN 978-5-9691-0949-0

Аннотация

«С 1983 года я в Москве. Так и живу: закончил Одессу, поступил в Ленинград, закончил Ленинград, поступил в Москву, где и учусь уже всю жизнь. Когда сейчас получаю записки: «Расскажите, как вы жили?» – удивляюсь. Жил неплохо. Человек вообще не знает, как он живет, пока не узнает от других. Я и не знал, что можно печататься в газетах, в журналах, выпускать книги, выступать по телевидению, что-то узнавать из собственных ответов. Я немного жил, немного писал, немного читал, кто-то начал записывать, кто-то – переписывать. Ну и что? И когда мне говорят: «Неужели вы не понимаете?» – я думаю, думаю и не понимаю».

Михаил Жванецкий

Содержание

Человек	7
Там хорошо, где нас нет	10
Бояться не надо!	13
По Дарвину	18
Эммануилу Моисеевичу Жванецкому от сына	20
Родина, страна, держава	29
Сексуальная революция	30
Телефонное одиночество	34
Что-то вы стали злым	37
Автопортрет	40
Судьба паучья	45
Население и народ	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Михаил Жванецкий
Собрание произведений
в пяти томах
Том 4
Девяностые

Рисунки Резо Габриадзе



*...С 1983 года я в Москве. Так и живу: закончил Одес-
су, поступил в Ленинград, закончил Ленинград, поступил в
Москву, где и учусь уже всю жизнь. Когда сейчас получаю
записки: «Расскажите, как вы жили?» – удивляюсь. Жил
неплохо. Человек вообще не знает, как он живет, пока не
узнает от других. Я и не знал, что можно печататься в га-*

зетах, в журналах, выпускать книги, выступать по телевидению, что-то узнавать из собственных ответов. Я немного жил, немного писал, немного читал, кто-то начал записывать, кто-то – переписывать. Ну и что? И когда мне говорят: «Неужели вы не понимаете?» – я думаю, думаю и не понимаю...

Человек

Человек может работать потрясающе и бесконечно.

От рассвета и до заката. Становясь все красивее.

Человек в одиночку может строить дом, возделывать сад, цветы, овощи, добывать материалы, перевозить их на себе.

О! Как он может работать, строя себе дом, баню, огород!

Весь день будут слышны визг его тележки, врез топора, скрежет труб.

Один в бесконечном труде.

От вырастания дома, от вырастания сада, от вырастания животных, от бесконечного труда он становится все лучше, все нечувствительней к усталости, все интеллигентней.

И тут его начинает желать земля. Цветы отдаются только ему.

У плохого человека они не цветут.

Деревья признают его руку, животные идут на его голос.

А он уже не боится металла, не боится машины.

Кран, труба, поршень становятся родными.

Руки начинают чувствовать металл, гайку, сгиб и могут повторить, как было, и повернуть по-новому, сделать воде удобно и сделать крыше удобно, и фундаменту сухо, и дереву влажно.

Руки становятся очень твердыми и очень чувствующими.

Тело не так сильным, как приспособленным.

Когда можешь поднять то, что захочешь, и верно оцени-
ваешь вес.

Руку точно продолжает топор, ключ, мастерок.

Все отполировано. Рукоятка входит в пальцы без зазора.

Сильны те мышцы, что нужны для работы.

Может даже выпирать живот от обильной рабочей еды.

Он не мешает.

У хорошего хозяина он есть всегда.

Вначале пропадает брезгливость, потом уходит усталость,
потом раздражение, и появляется техника.

Кельма, полутерка, сокол приросли к рукам, голова осво-
бождается от того, что делаешь, место тактики занимает
стратегия.

Ты уже можешь осуществлять идеи.

Сначала чужие, потом свои.

Новая работа начинается с расспросов.

Всегда найдется человек, который что-то подобное делал.

Человек человеку – совет, способ и инструмент, и все ста-
новится понятным, все возможным.

Все распадается на простое. Кто делал – не соврет.

А то, что ты делаешь для себя, будет стоять, пока ты жив.

С твоей смертью начнет умирать все, что ты поднял.

И никакие дети его не спасут.

Оно может умирать медленно, но умирать будет, пока кто-
то не расспросит людей и не начнет сначала.

И снова пройдет все пути развития: незнание, знание,

брезгливость, усталость, раздражение, умение, техника и красота.

Твои животные родят ему детенышей, твой дом покажет ему себя, вода потечет снова, его оставят усталость и сон.

Он будет строить для себя, чтоб отдохнуть, чтоб поспать, чтоб подумать на старости лет, но ни спать, ни размышлять в покое уже никогда не будет.

Всё, как и дети, уходит вперед, ничто к тебе не вернется в старости.

Лишь люди будут у тебя учиться и запомнят тебя.

И странно. Всем, что ты создал, ты не воспользуешься никогда.

Там хорошо, где нас нет

Спасибо вы знаете кому, видимо, Горбачеву.

Мы впервые проверили, действительно ли там хорошо, где нас нет...

– Да, – сказали мы, – очень хорошо!

И хорошо, что нас там нет, иначе было бы хуже.

Где мы есть – там плохо.

Нам плохо всюду. Это уже характер.

Все спрашивают, почему мы мрачные.

А мы мрачные, потому что плохо там, где мы есть.

А оттого что мы там есть, становится еще хуже.

И мы вывозим свою мрачность через мрачную таможенную и привозим туда, где нас нет.

«Нет счастья в жизни», – написано у всех на левой груди и подпись: «Жора».

«Иду туда, где нет конвоя», – написано у всех на правой ноге, поэтому мы и расплзаемся.

Оказывается, Жора, нигде в мире нет блатных песен. Это же уму непостижимо!

Это же отсутствует целая литература.

Фольклора нет. Народы молчат.

Это же, оказывается, только у нас.

Половина в тюрьме. Половина в армии.

Отсюда и песни. Оттуда и публика.

Сплошь бывший зэк или запас.

Крикни на любом базаре: «Встать! Смирно! Руки за голову!»— посмотри, что будет.

Половина сидит, половина охраняет, потом меняются.

А те, что на свободе, — те условно, очень условно.

На синем женском теле прекрасные голубые слова:

«И если меня ты коснешься губами, то я умерла бы, лаская тебя!»

Это о любви.

До сих пор основная масса узнает законы жизни из татуировок и блатных песен...

А у них этого нет. Откуда они узнают, как жить?

Даже этого нет: мимо тещино дома я без шуток не хожу.

Частушек нет. Мата нет!

Как у них грузовик задом подает?

Это все мы для них везем с собой.

С молоком матерным впитали и везем.

Усилитель речи. Чтоб нас услышали, мы говорим не громче, а хуже!

Правило: там хорошо, где нас нет — в основном верное.

Хотя ребята прибегали — есть места, где нас нет, а там все-таки не очень хорошо.

И населения тоже много, и оно все хитрое, и тоже себе думает: «Там хорошо, где нас нет», — и сюда смотрит.

Сюда смотреть не надо. Мы знаем, как здесь.

Но если их здесь нет, а все равно плохо, может, кто-то из

них все-таки здесь есть?

Так же, как кто-то из нас там... хотя проверяли, и морды били неоднократно, чтоб точно – вас здесь нет, нас там нет.

Однако нехорошо и тут и там.

Но таких мест очень мало.

И основной закон они не опровергают, только усложняют доказательство.

Поэтому опять повторяю неоднократно.

Приезжая туда, не делайте вид, что вас там нет!

Вы там есть!

А вот здесь вас уже нет.

И от этого здесь может неожиданно стать лучше.

Но вы этого уже не увидите.

Так что каждый думает сам. Хотя делают вместе.

Бояться не надо!

Ну вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали.

– Как ваше мнение?

– А черт его знает.

– Что может быть?

– Все может быть.

– Что делать?

– Давай так: *страх испытывать можно, а бояться не надо.*

Хватит цепляться за эту жизнь. Как мы убедились – в ней ничего хорошего. Несколько раз вкусно, несколько раз хорошо. И это все.

Любое правительство либо нас сажает в помои, либо мы его сажаем туда. То есть оно нами руководит оттуда. И даже не руководит, а посылает и отнимает.

Что там было в этой жизни? Я вас спрашиваю, что там было в этой жизни... Много разной водки, поэтому ничего вспомнить невозможно...

– Миша, как вы меня не вспоминаете, мы же в поезде лит-ра три выпили...

– Поэтому и не вспоминаю, сынок.

Ибо, как радость, мы пьем истово, до состояния ликования; как горе – пьем до состояния заглушения...

Да. Этого жалко. Водки с друзьями жалко. Водки на кухне, беседы рот в рот жалко. Любви на подоконнике жалко. Это только мы, это только у нас: лампочку в парадной хрясь и любишь, как ротный старшина, как бездомный кот, горящий изнутри. Любви жалко, выпивки жалко. Возвращений. Блудных следов своих путаных с другом вдвоем мокрым утром туманным, нелетным, милицейским жалко...

Снега жалко тихого в лесу, шапочки меховой и личика под ним румяного, глазастого, переходящего в ножки нежные, скрытые под джинсовым панцирем...

Жалко. Да... За всю жизнь, за все годы, за все жизни моего деда, прадеда, отца, отчима, второго отчима и меня – ни одного толкового правительства.

Оно что, присуждено? Оно что, там глубоко наверху решено, что мы должны мучиться?

Клянусь, из взаимоотношений с властью вспомнить нечего. Ну нечего! Отнять и послать. Послать и отнять. И из нас же! Из нас же!! На моей жизни, из того, что я помню, никогда не мог сказать, что эта компания откуда-то приехала. Ну рожи прошлые мы же все помним! Ну, еще раз напряжемся: рожи, те, что у киоска с утра, те и там, наверху. Как эти не могут двух слов связать, так и те. Эти – глаза маленькие, лицо большое, идей нет, и те – глаза маленькие, лицо большое, идей нет... Эти думают, чего бы с утра, и те... Ни разу никто не сказал правильно по-русски. Все через мат. Я сам матом могу. Все мы матом можем. И чего дальше?

Сейчас некоторые наши из оголтелых кричат:

– Лучший генофонд уничтожен! Мы нашли виноватых!
Давай за нами!

Куда ж за вами, если лучший генофонд уничтожен. А вы тогда кто? За вами пойдешь, опять морду набьют. Где же найти приличный генофонд? Куда деваться человеку не совсем здоровому, но тихому и порядочному?

Почему у нас старый от молодого мозгами не отличается – вспомнить нечего. Что-то есть типа мелочи в кармане: сырки в шоколаде за восемнадцать копеек, пол-литра за три шестьдесят две, фруктовое эскимо за восемнадцать копеек. И только древние старики помнят по-крупному: глубокое и постоянное изменение нашей жизни к худшему. То есть непрерывное улучшение, приводящее к ухудшению жизни на основе строительства коммунизма, развитого социализма и недоразвитой демократии с нашим лицом.

Пишите мемуары. Мат, стояние в очередях, ожидание в приемных, долгие, бессмысленные разговоры с вождями и кипа собственных жалких заявлений:

«Прошу не отказать», «Прошу учесть», «Прошу обратить внимание», «Прошу выделить», «Прошу похоронить»... И такая же дурная резолюция в левом углу: «Иван Васильевич, при возможности прошу изыскать».

А я мать его в гроб!

Давай вспоминать дальше, чтоб оправдать неистовое стремление к этой жизни. В тридцать лет начинается поправ-

ление резко пошатнувшегося здоровья на фоне непрерывного уменьшения выделений на медицину.

– Вам надо на операцию. Собирайте вату, бинты, шприцы, капельницы, гималезы, гидалезы, банку крови. Лежите с этим всем. Мы вас разрежем и поищем внутри. Нам тоже интересно, отчего вы так худеете.

Полная потеря интереса к своему здоровью со стороны больных и врачей сделала нас одинаково красивыми. Прорты я рассказывал, творожистый цвет кожи упоминал, запах изо рта описывал. Сутулая спина и торчащий живот дополняют внешний облик строителя коммунизма.

Что ж, я так думаю, цепляться за эту жизнь. Когда и как мы переживем сегодняшних начальников, чтоб увидеть светлую полосу, я уж не говорю – почувствовать...

И так тонко складывается ситуация, что при гражданской войне мы опять будем бить друг друга: то есть беспайковый – беспайкового, низкооплачиваемый – бесквартирного, больной – больного. Ведь все мы и вы понимаете, что до них дело не дойдет и дачу их не найдешь. И опять дело кончится масонами, завмагами, армянами и мировой усталостью, которая и позволит всем вождям от районных до столичных снова занять свое место. Что они немедленно сделают с криком: «Дорогу пролетариату! Народ требует! Народ желает, чтобы мы немедленно сели ему на голову!» А мы с вами расчистим им путь своей кровью. Такие мы козлы, не умеющие жить ни при диктатуре, ни при демократии.

– Не готовы наши люди, – говорят вожди. – Не готовы! Жить еще не готовы. Помирать не хотят, а жить не готовы.

Вот я и предлагаю: не бояться помереть в этом веселом и яростном мире. Врагов не бояться. Кто бы ни пришел – уголовник или патриот, вождь или сексот. Кто первый ворвется в квартиру – он и перевернется. Свобода стоит того, а эта жизнь того не стоит. Мужество рождается от трусости. Первый пострадает, второй задумается.

И меньше сидеть дома. Легче идти на контакты. Настало время контактов и политических знакомств. Искать своего, порядочного, которому тоже жалеть не о чем. Искать легко – по лицам. У порядочных есть лица, у непорядочных и там и там вместо лица задница... И сходиться.

Все уже ясно. Когда появится правительство, удовлетворяющее нас, – нас не будет. Когда появятся законы, разрешающие нам, – нас не будет. А когда они войдут в действие – и детей наших не будет.

Поэтому первое. Свалки не бояться – тогда ее не будет. Землю брать – тогда она будет. Свободу держать зубами. Вождей, живущих с нами параллельно, угробивших нашу юность, – давить. И ничего не бояться. Хватит кому бы то ни было когда бы то ни было распоряжаться нашей жизнью. Каждый сам знает, когда ее закончить.

По Дарвину

Как быстро мы прошли путь от тирании полицейской к тирании хулиганской.

В свободных человеческих стаях сама собой образуется диктатура: в тюрьмах образуется диктатура, в обществе образуется диктатура. Как спасение от крови и как путь к крови.

Естественным путем, совсем по Дарвину. Видимо, это самое простое и быстрое для толпы. Как странно: когда поступаешь, как понимаешь сам, меньше ошибок. Как ввяжешься в толпу, как помчишься вместе со всеми – и морду набьют, и спина в палках, и настроение подавленное.

А один пойдешь – и поразмышляешь, и отдохнешь, и девушку найдешь одинокую, размышляющую. И сорвешь с нею цветок, и сядешь вдаль глядеть молчаливо. И чем дольше будет молчание, тем сильнее будет симпатия: не слова соединяют. А если повезет, ее руку, как птенца, накроешь и чуть прижмешь, чтоб не обидеть, а почувствовать.

И шелк почувствуешь, сквозь который она проступает.

Так создана, что сквозь одежду проступает.

От тебя требуется смысл за словами, а от нее – нет.

У нее он во всем: в движении, в покое, в голосе, в молчании.

Ходи один. Одному все живое раскроется.

Одному написанное раскроется. Один – размышляет.

Двое – размышляют меньше.

Трое совсем не размышляют.

Четверо поступают себе во вред.

Смотри, как одиночки себя поднимают, кормят, одевают и этим страну поднимают и еще другим остается. А коллективы только маршируют.

Старики же толпой не ходят.

И над землей, и над могилой, и над колыбелью стоим в одиночестве и, видимо, стоять будем.

Эммануилу Моисеевичу Жванецкому от сына

Ну что ж, отец. Кажется, мы победили. Я еще не понял кто. Я еще не понял кого. Но мы победили. Я еще не понял победили ли мы, но они проиграли. Я еще не понял проиграли ли они вообще, но на этот раз они проиграли.

Помнишь, ты мне говорил: если хочешь испытать эйфорию – не закусывай. Это же вечная наша боль – пьем и едим одновременно. Уходит вдвое больше и выпивки, и закуски.

Здесь говорят об угрозе голода. Но если применить твое правило, голода не будет. Все будет завалено. А пока у нас от питья и закусок кирпичные рожи лиц и огромные животы впереди фигуры, при которых собственные ноги кажутся незнакомыми.

Так вот. В середине августа, когда все были в отпуске, и я мучился в Одессе, пытаюсь пошутить на бумаге, хлебал кофе, пил коньяк, лежал на животе, бил по спинам комаров, испытывал на котах уху, приготовленную моим другом Сташ-ком вместе с одной дамой, для чего я их специально оставлял одних на часа три-четыре горячего вечернего времени, вдруг на экране появляются восемь рож и разными руками, плохим русским языком объявляют: «ЧП, ДДТ, КГБ, ДНД...»

До этого врали, после этого врали, но во время этого вра-

ли как никогда. А потом пошли знакомые слова:

«Не читать, не говорить, не выходить. Америку и Англию обзывать, после двадцати трех в туалете не ...ать, больше трех не ...ять, после двух не ...еть». А мы-то тут уже, худо-бедно, а разбаловались. Жрем не то, но говорим, что хотим. Даже в Одессе, где с отъездом евреев политическая и сексуальная жизнь заглохла окончательно, – встрепенулись. И встрепенулись все! Кооператоры и рэкетиры, демократы и домушники, молодые ученые и будущие эмигранты.

Слушай, пока нам тут заливали делегаты, депутаты и кандидаты, мы искали жратву, латали штаны, проклинали свою жизнь, но когда появились ЭТИ, все вдруг почувствовали, что им есть что терять. Не обращай внимания на тавтологию, в Одессе это бич. Слушай, я такого не видел. По городу ходили потерянные люди. Оказывается, каждый себе что-то планировал. Слушай, и каждый что-то потерял в один день. Вот тебе и перестройка, вот тебе и Горбачев.

Одна бабка сказала: «А я поддерживаю переворот. Масло будет». Ее чуть не разорвали...

– Масла захотела! Она масла захотела! Ты что, действительно, масла захотела?! Вы слышали, она масла захотела!

– Кто масла захотел?

– А вон та, в панаме.

– Это ты, бабка, масла захотела?

– Она, она.

– Иди, ковыляй отсюда. Масла она захотела!

А настроение было хреновое, отец. Я затих. Опять, думаю, буду знаменитым, опять в подполье, если не глубже. А твой проклятый солнечный город у моря и в мирное время отрезают ото всех киевским телевидением. Ни одной новой московской газеты, ни одной передачи, а тут вообще всюду радио и из каждой подворотни: «...запретить, не ходить, не ...ать, не ...ить».

Так что сижу – жду звонка. Звонит наша знаменитая певица, ты уже ее не знаешь, отец. Перелезла она через забор своего санатория, и пошли мы с ней на пляж «Отрада». Жара. Народу полно.

«Эй, – кричит она, – вставайте. Вы что, не знаете, что чрезвычайное положение?» Все сказали: «Не знаем». А кто-то сказал: «Знаем». А кто-то сказал: «Нам вообще на это дело...» А кто-то даже головы не поднял.

– Вы что, с ума сошли? – закричала она. – Это я, Пугачева! Вставай, народ.

Тут их всех как ветром собрало.

– Ты смотри, – закричали они, – Алла Борисовна. Сфотографировать можно?

– Давай, – закричала она, – только с этим, со Жванецким давай.

– Давайте, – закричали тридцать фотографов. – А автографы можно?

– Нет, – сказала хитрая певица, – это плохая примета.

Никто не понял, но все согласились.

– Чрезвычайное положение, все запрещено, – вскричала она, – поэтому мы все сейчас пойдем на другой пляж. Сколько нас здесь?

– Человек пятьсот.

– Мало. Еще давай. Митинги запрещены, по у нас не митинг, а демонстрация. Что будем делать, если нас арестуют?

– Перебьем всех, – радостно ответила толпа.

– Тогда пошли на другой пляж. Там еще людей соберем.

Все пятьсот с фотоаппаратами и детьми пошли на соседний пляж, там присоединилось еще пятьсот.

– А теперь все в воду, – закричала певица, – как на крещении.

– Сейчас я разденусь, – крикнул один.

– Не раздеваться! Кто в чем. Чрезвычайное положение.

И все вошли в воду. Пятьсот и еще пятьсот запели «Вихри враждебные веют над нами», и запевалой была она, и они были хором. А я на берегу проводил летучий митинг-беседу с теми, кого интересовало, что такое чп, дп, кгб, кпу.

– А теперь, – сказала Алла опять гениально, – вы все останетесь здесь, а мы пойдем.

И мы пошли. А из всех щелей Одессы дикторы Всесоюзного радио шипели: «...запретить, сократить, наказать, посадить». Настроение у нас стало прекрасным. Мы были, наконец, вместе со своей публикой, и мы не знали, мы не знали, мы, к стыду своему, не знали, что в Москве народ вышел против танков.

Представляешь, отец, когда ты жил, люди боялись анекдотов, когда я жил, люди боялись книг, теперь, когда живут они, они не боятся танков. Вот что значит людям есть что терять. Тавтология наш бич.

В общем, когда в Одессе так все плавно шло в пропасть, в Москве начались загадки. Те восемь побежали, не потерпев как следует поражения. Они поехали к тому, кого свергли, жаловаться на провал. Но он их не принял. Он сидел в заключении, окруженный крейсерами, и не мог выйти. Он, оказывается, был здоров.

Он не то что не принял заговорщиков, он их послал по-русски, и они сидели в приемной как побитые курицы вместе со своими танками и самолетами. Он сказал: «Почините мне телефон немедленно». Они тут же ему починили. И он разжаловал их всех по телефону, чтоб не видеть их в глаза, хотя ближе них у него никого не было.

– Пусть теперь никого и не будет, – сказал он и пошел к врагам, раскрыв объятия.

Враги встретили его, как родного. А хуже друзей у него никого не было. И к нам приехал совсем другой человек. Уже четвертый президент за последние полгода. Сейчас это решительный, твердый, неумолимый, даже слегка кровавый демократ. Никто не знает, что он делал эти три дня. Про его друзей знают, кто чем занимался до мелочей. А что делал он – не знает никто. Но мы его безумно любим, потому что и так нет продуктов, топлива и одежды, еще его не будет, такая

скука зимой будет, вообще помрем.

Тот второй, что его заменил, покрепче, но не умеет выражаться, не сообразив. Наш выражается запросто. Не думая. Спроси его: «Как вы относитесь к указам предыдущего?» – «Я пришел в семь утра», – скажет он...

Ни на один вопрос не отвечает, хотя смотрит приветливо, чем и завоевал всеобщее уважение. А тот, который завоевал всеобщую любовь, крепко думает. Это видно. И выражается, хорошо подумав, чем уже навлек на себя и на всех нас огромные неприятности.

Но это все неважно, отец. Мы сейчас все кайфуем! Во-первых, мы разбились по республикам окончательно. Хотя у нас единое экономическое, политическое, полуголодное и больничное пространство, но на этом пространстве нет ни хрена, и не ходят поезда. Самолеты преодолевают это пространство, стараясь не садиться. Но мы сейчас все разбились по республикам. Все выставили таможни. Потому что в одной республике нет мяса, в другой нет рыбы, в третьей нет хлеба. И мы хотим знать, где чего нет, и хотим это положение закрепить.

Теперь кто в какой народ попал, тот там и сидит. Назначили туркменом – так уж будь здоров. И кто в какой строй попал, там и сидит. Кто вообще в капитализм, а кто и в первобытнообщинный. Все с трудом говорят на родном языке, у каждого своя армия с пиками, мушкетами, усами и бородой. Дозорные сидят на колокольнях. Как с соседней терри-

тории увидят войско, кричат вниз, машут флагами и пускают дым. Коней нет, волов нет, техники нет, поэтому войска идут пешком долго, пока дойдут. Но говорить им «какие вы отсталые» – нельзя. Очень обидчивые. Уж как стараются их не обидеть, все равно обижаются и пики мечут во врагов. Но это скорее весело, хотя очень плохо.

Да, забыл тебе сказать, отец. Помнишь, ты все бегал на партсобрания, а по ночам тайно делал аборт? Так вот этого теперь нет. Нет, аборт есть. А этой больше нет. Ты ее помнишь как ВКП(б)... Нету! Разогнали... Помнишь, если раньше у кого в толпе был суетливый взгляд – это были мы. Теперь это они. Коммунистическая партия большевиков, о необходимости которой говорила вся страна, попряталась.

Помнишь, среди помоев и дерьма стояли здания с колоннами, а впереди Владимир Ильич показывал рукой в разные стороны и подмигивал левым глазом в птичьей помете: «Правильной дорогой идете, товарищи». А на указательном пальце сидел какой-то мерзавец из голубей и дискредитировал направление окончательно. Теперь ВКП(б) выезжает из этих колонн: Ильич выезжает из Мавзолея и они вместе переезжают на новое место... Опять тавтология... Умоляю!.. Да... Так они переезжают на какое-то кладбище в Ленинграде.

Да! Совсем забыл. Ленинграда-то больше нет! Слушай! Как мы все проголосовали. Еще до ППП. Я буду сокращенно писать, чтоб тебя не утомлять. ППП – это Провал Попытки

Переворота. ГППП – это Герой Провала Попытки Переворота. УППП – это Участник Провала Попытки Переворота.

Так вот, еще до ППП, мы все ка-ак проголосовали – хотим Санкт-Петербург.

Ну, ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь из нас доживет?! Все большевики взвыли. Как?! Кровью и потом, блокадой умыто. Они до сих пор хвастаются потерями. Но на самом-то деле они понимали, что в это название никакие райкомы не помещаются: «Санкт-Петербургский обком ВКП(б)». Я пишу ВКП(б), чтоб тебе легче было понять. Она теперь была КПСС. Слушай, как безграмотно: «Она теперь была КПСС». Мой учитель Борис Ефимович Друккер переворачивается в гробу.

А кто вам виноват? «СССР – СЭС – КПСС». Не дай бог произнести – со всех дворов кошки сбегаются, думая, что их накормят. Мы тоже, папаня, сбежавшись на это ПС – ПС – ПС, ожидали семьдесят четыре года. Мне Генрих рассказывал. У них во дворе Берта чистила рыбу. Все коты сидели вокруг. Вдруг одноглазый по кличке Матрос так мерзко взвыл «мяу!».

– Ша, – сказала Берта, – это пустой разговор... Так и мы с КПСС.

Так интересно как стало, не было никогда.

Жить этой жизнью гораздо лучше, чем жизнью животных, которой мы жили.

Тавтология такой же бич Одессы, как отравления питье-

вой водой.

Но ничего, Это тоже интересно. Мы тут уже полюбили эти внезапности. Такое ощущение, что все события, которых не было все эти годы, собрались сейчас. Дай Бог нам пережить их без потерь.

Хотя каждый ходит приподнятый.

Приподнятый и твой сын под той же фамилией.

7 сентября 1991 г., Одесса

Родина, страна, держава

Родина, страна, держава...

Родина – где ты вырос.

Страна – где ты живешь.

А держава образуется благодаря пограничникам. Если бы не они, разлетелось бы все к чертовой матери и разбрелось бы по всему миру.

Честь и слава пограничникам, стягивающим державу, стягивающую столь разные народы в единое кудахтающее и завывающее целое.

Это уникальное явление, когда в одной корзине и волк, и кролик, и лиса, и петух, и гиена, и все живут вместе, и даже дают концерты, называемые Хороводы дружбы и Дни литературы.

Эх ты, РОДИНА-страна!

Сексуальная революция

Чего-чего, а от скуки не помрем – семьдесят лет в революции. Стаж огромный. На что нас только не поднимали: Гражданская война, коллективизация, индустриализация, война, захват соседей, борьба с учеными, борьба с писателями, борьба с Америкой, битва за хлеб, Братски и БАМы...

Ни минуты покоя – походные костры, вагоны, рюкзаки, бараки. Чуть хуже, чуть лучше... Все время чего-то не хватало, все время кружка на цепи... То лекарств, то хлеба, то картошки... Чего там!..

Однокомнатная на троих и триста рублей на похороны... Уж чего-чего – скучать не скучали. Все затихли давно, а мы на целину поехали, а мы сельское хозяйство поднимали.

В мире рок-н-ролл, автомобили, видео, а мы на БАМ поехали. Опять в пургу, тайгу. Ведь поехали же. Нас никто и не обманывал. Сказали БАМ строить – мы поехали. Сказали Братск строить – мы поехали. Сказали затопить – мы затопили. Все сделали. Стоят, стоят Волго-Дон, Братск, БАМ, целина. Сам видел, все стоит. Города стоят – Братск, Ангарск, Нижнекамск, Нижневартовск, – и ничего в нашей жизни не изменилось. То хуже, то лучше в рамках очень плохого.

А мы не скучаем, поэмы пишем, у костра поем, вечные революционеры, тараканы-передвижки. Снуем на перевя-

занных ногах... И виноватые все передохли. Уже вторые виноватые скончались. А мы все спуем с песнями под гитару. Иногда кулачки в воздух поднимаем: «Даешь Кузбасс, Донбасс, космос, Соликамск!..» – и с оркестром на поезда! Тридцать – сорок лет на севере, чтоб затем на юге немного без здоровья и зубов...

Не скучали. В антиалкогольную борьбу включились против себя и долго воевали, круша пивзаводы, вырубая виноградники. Не-не, с нами не соскучишься и у нас не заскучаешь.

В перестройку вот включились, на площадь пошли. в секс рванули... Оказывается, там тоже отставание. Мы ж-то не знали. Мы ж примитивной техником ковырялись, а там такие достижения... Один против трех. два против пяти... Четные пары уже устарели. В состоянии постели, в состоянии воды, в состоянии железнодорожного вагона, на базе парковой скамейки и, что главное, – открыто, азартно, при поддержке окружающих с часами в руках и мелом...

Ну, на нашем питании Италию и Францию не догнать, но с сексуально отсталыми, типа Камерун и голодающая Эфиопия, можем. Литература уже пошла косяком. Мужчина в разрезе замечательно показан. Теперь видишь, где у него, под леца, зарождаются эти устремления и как он, мерзавец, действует в определенной обстановке. И конечно, неотразима дама в разрезе. Изучаешь эту красоту и понимаешь, куда у мужчины все силы, все средства, все заработанное в тайге на

севере уходит.

Поразительно, как на тех же гнилых овощах, на тех же нехватках совсем другое тело получается. И жрать нечего, и надеть нечего, а нежная она и всяческая. И очень хочется ее, конечно, от этой жизни заслонить. Вынуть ее отсюда, ватой обернуть и самому пристально наслаждаться и рассматривать.

Но нет, протестует, вырывается, желает участвовать в общественной жизни всей полнотой своей, всем врожденным ароматом. Ну, ничего, может, хоть они нам жизнь исправят. У мужиков не получается. У них всегда позиции разные. Называется это – альтернатива. То есть стенка на стенку. Как один что-то придумал, так появляется второй и придумывает противоположное. В животном мире это давно есть: два петуха, два козла, два барана на мосту и так далее. Женщина их может примирить, но ей некогда, она еще и в сексуальной революции участвует, опровергая тезис большевиков, что советской женщины в сексе нет. Это неправда! Она там есть.

А чтоб успокоить родителей, скажу: секс, конечно, не панацея, но и не трагедия. Проблемы секса бояться нечего – по мере исчезновения продуктов исчезнет и она. Вы же видели мужика в разрезе: там эта линия прямо от желудка идет. Если он утром ничего в топку не бросит, он к вечеру не то что ужалить, жужжать не сможет. А у барышни наоборот – ничего не меняется, только лучше становится. Это из разреза хорошо видно.

В общем, секс, как и рынок, требует изобилия продуктов питания, богатого выбора одежды и развлечений. Мы только в начале сексуального пути находимся, когда мужик на остатках продуктов питания еще ярится, ва-банк идет, насилие устраивает, как бы демонстрируя превосходство грубой силы. Но это считанные дни. Мир это прошел. Мужика ожидает крупный спад, связанный с выходом на мировой рынок, с бизнесом. риском и банкротством. И тогда поднимется женщина уже как следует одетая, причесанная и предъявит счет. Настоящий. За все ночные унижения, холодные парадные, мокрые скамейки... Тут мужчине, кроме «мерседеса», предъявить нечего. Борьба у них пойдет – у кого какой «мерседес». И тогда женщина опять начнет подниматься, до следующего цикла подъема мужчины, связанного уже с нехваткой нефти. Опять мускульная сила и так далее...

Но нам все это еще предстоит пройти, мы в самом начале сексуальной революции. Мы впервые увидели отдельно мужчину в разрезе и женщину. Нам еще предстоит увидеть их вместе.

Телефонное одиночество

Я когда-то писал: «Все! Все!», писал я. «Чайник выкипел, газ кончился. Коты разбежались. Все!» – писал я. Полное одиночество! И оно наступило. Разговор с другом шестьдесят рублей минута. Прочсть ему крохотный отрывок – триста рублей. Услышать его вздох – девяносто. Узнать, что ничего не вышло – сто двадцать... пятьсот десять – чтоб в этом убедиться.

Раньше неудача – двести грамм по рубль восемьдесят и бутерброд: килька с яйцом на белом хлебе – сорок копеек. Сейчас пятьсот десять плюс триста без выпивки. Восемьсот рублей за то, что ничего не вышло? Рынок!.. Это рынок. Полное одиночество продавца ненужных вещей.

По местному разговаривать не с кем. Наторгуешь своим телом и снова выходишь на связь. О рекомендациях разговора нет. Кто там что успевает? Одно замечание по языку – это четыре обеда в хорошем кафе. Если переписываться, ты узнаешь, что эту проблему стоит копнуть, когда уже ни этой проблемы, ни этого правительства, ни этого народа в помине нет.

Он оттуда звонит молнией, называет свой новый номер и бросает трубку, как кусок раскаленного угля. Он вообще мыслит шекелями, а говорит за рубли. За рубли он говорит очень охотно... Он говорит даже после того, как вы положи-

ли трубку. А для телефонной станции не имеет значения, кто разговор закончил, ей важно, кто продолжает...

«Все! – писал я. – Все!» Это литературные дела. А личные? Услышать, что она сдала на права, купила машину, заказала торт из мороженого, съела его с каким-то местным и теперь сидит, курит, обошлось в тысячу двести рублей, хотя никто ей не поверил...

Шестнадцать часов вкалывал, опоздал в гастроном, хлебной коркой обтер холодильник изнутри, чтобы услышать, что сейчас у нее ночь, но она проголодалась и жрет пудинг и бекон или, наоборот, и очень скучает, но хочет спать... В общем, нафальшивила на восемьсот двадцать рублей прямо мне на пустой желудок. «Я очень скучаю», – почему-то шептала она.

«Я нужен здесь», – твердил он. Вдвоем они набрехали на тысячу сто десять рублей. А узнавать, что она там ест, на чем спит, в каком бассейне торчит и еще платить за это дикие деньги?!

«Все! – писал я. – Все!» Такого одиночества еще не бывало. Унижаться можно, когда за это платят тебе, но унижаться и платить самому?!

«Все! – писал я. – Все!» Выставляйте счета! Ничто так не подчеркивает одиночество, как счета за телефон и свет!

Да! Если она рядом, нужно меньше света. Да!

Итак, попытки жить литературной и личной жизнью по телефону приводят к быстрому разорению, легкому поме-

шательству и полному одиночеству торговца ненужным товаром.

– Чем вы торгуете? Стыд! Вы бы хоть их обработали. Совесть у вас есть?

– Совесть есть. Не хватает этих... А! Не хотите, не берите.

Что-то вы стали злым

– Что-то вы стали злым, Миша...

– Да? С чего бы это? Ты смотри, а мне казалось у меня все тот же тихий незлобивый юмор. Что вы? Я никогда не был злым.

То была прекрасная, покойная жизнь, ничего не печаталось, он тихо и покойно жил на частные пожертвования в частной беседе на частной квартире. А политбюро все заседало и заседало. И ничего не печаталось, и ничего не выходило, и зарплаты не было, и был он невыездным все пятьдесят лет, и комиссия из двадцати человек обсуждала каждые полслова, а незнакомые люди обнимали и говорили:

– Ну, стрелять тебя надо!

– Что, не понравилось?

– Наоборот. Но как ты не боишься?

– Боюсь...

– А чего ж тогда?..

– А как же иначе...

– Ну, смотри... Главное, не становись злым.

– Да уж стараюсь...

Да, да, главное, не злиться. Тихо так, по-доброму. Ни квартиры, ни черта даже по этим масштабам. Шути без конца за выпивку, за ужин, выступай за телефон, за пылесос... Ничего, злым не стал, так, слегка раздраженным. А тут кон-

чилось одно время, другое началось... И началось другое. Стал предметом вожделения. Девушка. Все хотят. Тиражируют, зарабатывают. Где? Как? Я не разрешаю. Никто не спрашивает, записывают, крутят, печатают, снимают, показывают. Облепляют и по капелькам во все углы.

– Смотри, Миша, только не становись злым.

– Да где ж тут станешь злым. Зачем?

Кто-то звонит откуда-то:

– Вы в наш город не приедете? Очень зовем.

А он до сих пор не научился прямо и грубо говорить:

– Нет, не приеду. Сидите там сами. Он говорит:

– Я подумаю...

– Значит, мы можем надеяться?..

А он не решается сказать:

– Нет, не надейтесь. Живите так...

Он говорит:

– Ну что ж, надейтесь...

А через неделю:

– Ты что, согласился там выступать?

– Да нет...

– Как нет! Афиши висят, в газетах написано.

И он едет туда, едет, чтоб быть добрым. Не быть злым...

И дописался.

В этой любимой стране, где всегда ждешь удара сверху, удар снизу считается неожиданным. Оказывается, ты опять чужой. Когда ты был чужой чужим – это понятно. Сейчас чу-

жой своим. Они подсчитали. Они определили. Опять и снова. Снова и опять. Столько лет без усталости. В одну точку. Жрать нечего, надеть нечего, работать некому, а здесь ведь хватает энтузиазма звонить, писать, обзывать неутолимо.

И уезжают все, бегут потоком, а эти неутолимо бьют и заводят тебя, чудовищным усилием сворачиваешься, чтоб не заорать в ответ, чтоб не плеснуть свою ненависть в этот пожар.

– А знаете, раньше вы как-то были добрее. Ваш юмор стал как-то более злым. Чем вы можете объяснить?..

– Даже не знаю, чем объяснить. Это и для меня загадка. Буду внимательнее.

– Да. Надо быть внимательнее. Люди ждут от вас доброты.

– Пожалуйста... Хорошо... Ладно... До свидания.

Ну что ж, вы правы, почему вы за свои деньги должны видеть злую перекошенную рожу. Нет-нет-нет. Надо вспомнить что-то хорошее. Все-таки пятьдесят шесть лет. Я должен, я обязан вспомнить что-то хорошее. Ведь оно же было. Я же был счастлив. Только вот от чего? Я вспомню. Обязательно. Обязательно... Сейчас-сейчас-сейчас. Нет – не это... И не это... И не это... Я позвоню.

Автопортрет

Талантом, а не трудом, он добился следующих прав:

Первое. Не вставать утром с целью наживы.

Второе. Вспоминать числа, а не дни недели.

Третье. Во время танцев не подниматься из-за стола. а танцевать там, внизу.

Четвертое. Неудачно шутить, лукаво глядя вокруг. Отсутствие смеха считать не своим, а их недостатком. И внутри злорадно: «Ничего, вечером поймут».

Пятое. «Ты меня не понимаешь», – говорить серьезно. Хотя что там понимать, так же как и чего там не понимать. Организм потребляет больше, чем производит. Отсюда болезни и горячая дружба с соболезнаками. Добился права не понимать человека по своему усмотрению.

Шестое. Добился права не обижаться никогда. Это удел слабых.

Кто-то хочет на тебе заработать – пожалуйста, кто-то выдает себя за тебя, тебя за кого-то – ну что ж, ну что ж...

Кстати, как только поверил, что стал умным, наделал кучу глупостей. А вообще всем все пожалуйста в пределах совести, совесть в пределах Библии, Библия в пределах знания.

Седьмое. Стал понимать: радость – это друзья, женщины и растения. Счастье – когда они вместе. Видел уже друзей с женщинами среди растений. Знает, о чем говорит.

Восьмое. Отношение к женщинам – восторженное. Лучшего не бывает. К ним надо возвращаться даже после смерти. Понимает, что внешность женщины – работа мужчины. Но все остальное: и медленная голова на грудь, и медленная рука на плечо, и переход на «ты»... ждешь как-то, как-то... Да...

Короче, потребительское отношение к женщинам поменял на восторженное, а они, к сожалению, наоборот. Ну что ж, ничего.

Девятое. Ничего.

Десятое. Ничего.

Жаль, что на все простейшие вопросы организм отвечает не попад.

Одиннадцатое. Жаль, что организм просыпается позже владельца и засыпает отдельно, и не подчиняется как раз тогда, когда все, буквально все на него рассчитывают.

О чем жалеет? Двоеточие.

Двенадцатое. Не там. Не там это все происходит.

Тринадцатое. Не тогда.

Четырнадцатое. Еле вырвался из прошлого, тут же влип в настоящее.

Пятнадцатое. Коль судьба не сложилась, хоть бы биография была. Не может понять, куда устремлена судьба, во что бьет биография? И кто следит за поступками?

Шестнадцатое. Пока все кричали: «Бога нет», – он в него верил... Как все изменилось.

Семнадцатое. Невозможно бежать в нашей толпе, ни на время, ни на расстояние. Только по кругу. Бежишь, враги мелькают, первые, вторые, снова первые. снова вторые. Стоят, прищурясь.

Очень хочется их уничтожить. Но страшно.

Надо среди них выбирать самых беспомощных.

Восемнадцатое. Возраст совпадает с размером одежды и мешает в шагу.

Девятнадцатое. Имущество здесь очень дорого, но имеет одну особенность – быть конфискованным. Это не зависит от имущества. Просто пришла пора. И тебя либо награждают орденом с конфискацией, либо выездом с конфискацией, либо просто поздравляют с конфискацией, и все.

И ты опять живешь.

И деньги, которые копил, вдруг пропадают.

И ты снова налегке, как тогда, в студенчестве.

Снова молод, снова чист и пуст, как зимний лес, где шелест ветвей не перейдет в плодовый стук, хотя по жизни разбросаны сверкания... То есть снова о женщинах и выпивке. Они слились. И хотя добавились стук сердца и головная боль, но отказаться невозможно. Останутся стук сердца и головная боль. Кто хочет с этим остаться?

Двадцатое. Отношения с детьми не сложились. Придется рожать до полного взаимопонимания.

Двадцать первое. Из имущества осталось место жительства.

Будет бороться за жительство в данном месте, хотя разумных аргументов в защиту этого не имеет.

Двадцать второе. Счастлив ли? В разное время дня на этот вопрос отвечает по-разному, но всегда отрицательно.

Двадцать третье. Вопросы творчества волнуют, но не интересуют. Просто не в силах переплюнуть парламент и межнациональные конфликты, с огромным успехом идущие по стране.

Сатиру отшибло полностью. Низы жалко, а верхи отвратительны.

Если нам разрезали живот, и не оперируют, и не зашивают – какая там сатира, кого высмеивать, кого успокаивать?

Низ достиг своего низа, верх достиг своего верха.

Все! И терпения больше нет.

Умные разбегаются, дураки не умеют. Хитрые в тупике.

До чего дошло! Хитрые в тупике. Вот и радость в этой жизни.

Хронические обманщики и демагоги в тупике.

А сатира бедная свернулась ежом, направляя иглы во все стороны, защищая саму себя.

Двадцать четвертое. Тем не менее к своей внешности относится тепло.

Многолетняя борьба с животом закончилась его победой. Война с лысиной проиграна. Глаза уже сами отбирают, что им видеть. Мелкое отсеивается... Роман целиком виден, отдельные буквы – нет.

Двадцать пятое. Забыл.

Двадцать шестое. Забыл.

Двадцать седьмое. Вспомнил. Безумно счастлив в личной жизни. Но одиночество лучше.

И это, как говорят наши депутаты, однозначно.

Двадцать восьмое. Культурный уровень понизился до здравого смысла!

Двадцать девятое. Жив еще... Хотя...

Тридцатое. Когда-то считал шестьдесят закатом, сейчас с этим не согласен!

Судьба паучья

Повис на всем своем, как на паутине.
Всем, что создал, сам опутан.
Быстро перебегаю от позднего к раннему.
Или жду, затаюсь.
Кто-то запутался.
Еще один.
Запутались сами и дают мне пищу.
Их жизнь, их кровь, их ссоры.
Но они кончились.
Я перебежал и повис, раскачиваясь.
На том, что из меня, опустился ниже.
Еще ниже. Высматриваю.
Ветер колышет мою паутину.
Пусто.
Раскачиваюсь.
Тку еще.
Без пищи нет паутины.
Без паутины нет пищи.
Вишу на последнем. Высматриваю.
Передвигаюсь еще медленнее.
Неужели заметят и не запутаются?
Вишу, раскачиваюсь.
Глаза уже плохи.

Внутри пусто.

Побежал к раннему.

Никого.

К позднему... Ничего...

Сволочная судьба паучья.

Население и народ

Разговор начальников

– Ох, Петраков, народ терпеть не будет, если ты оставишь население без, допустим, газет.

– Какие могут быть, допустим, сомнения. Оставить население без газет нам не позволит народ.

– Народ, между прочим, может внезапно спросить: а как услуги населению?

– Платные?

– Безусловно.

– Или бесплатные?

– Конечно.

– Повышение платных услуг населению есть общенародная задача. Честно говоря, Василь Василич, население мне не нравится.

– А народ?

– Ну, народ... Наш народ с населением не сравнить. Вы ведь тоже чувствуете разницу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.